



*Михаил Богатов*

## **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ В ПОЛИСЕ: НЕПЛАТОНОВСКИЕ СЮЖЕТЫ<sup>1</sup>**

...и что находится в этом зеркале, насколько искажает оно и какой лик отражается в нем — это можно увидеть лишь собрав воедино всю действительность внутрисюжетных дел, собрав в их единство их бессюжетности. Но даже и тогда вряд ли станет виднее, ибо в это зеркало другой природы смотрится только один...

### **СЮЖЕТ ПЕРВЫЙ: ХИТРЫЙ ГОСПОДИН ИЗБЕГАЕТ ОЗВЕРЕНИЯ**

В известном рассмотрении, предпринятом Александром Кожевным, диалектики раба и господина из “Феноменологии духа” Гегеля, речь идет о трудной, почти неразрешимой (разве что диалектическими средствами) ситуации, в которой господин, поставив на кон свою жизнь в битве с другим господином за чистое признание, выстаивает и выходит победителем, поработав своего противника — другого господина, — и делая, его тем самым, своим собственным рабом. Отныне победившему должно принадлежать безоговорочное признание его господства, но неразрешимость ситуации в том и состоит, что признающий должен быть равен признаваемому в своем господствующем статусе. Господина признает в его господстве лишь другой господин. Иначе говоря: господину биться и рисковать своею жизнью перед лицом раба и во имя взгляда раба не пристало, но именно это в итоге и получается. И нам известен итог этого рассмотрения, в котором интерпретация Кожева, направляемая хо-

---

<sup>1</sup> Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-1201.2007.6. Эта статья представляет собой доклад, озвученный на научной конференции “Российский интеллигент: исторические судьбы и цивилизационные перспективы” (1-3 октября 2008 г.) и в несколько измененном виде опубликованный в одноименном сборнике научных докладов (Саратов: Наука, 2008, СС.25-31).

дом мысли Гегеля, говорит о том, что господин становится животным, которое отныне имеет дело лишь с продуктами рабского труда и, тем самым, утрачивает связь с непосредственной действительностью. Фактически, лишенный зеркала в виде признания со стороны равного себе, он оказывается в некоем неом царстве кривых зеркал, под воздействием которых его собственных лик неминуемо преображается — лицо победителя, не пожалевшего собственной жизни, сменяется оскалом самодовольной звериной морды. Отныне — заключают Гегель и Кожев, — это животное сходит с пути истории, которая целиком и полностью переходит под логику поступательного рабского развития. Этот сюжет хорошо известен, равно как известны и его философские и политические последствия, причем последствия эти весьма различны для мышления и политических реалий.

Но что, если в действительности, “в самих вещах”, ситуация эта разрешается радикальным и непредсказуемым (диалектическим мышлением) образом? Что, если господин, поставив на кон свою жизнь и победив в своем противостоянии с другим господином, что, если господин, получив в удел рабов, тем не менее, избегает неким образом ситуации исключительно пассивного прозябания в качестве все больше звереющей потребляющей твари? Что, если господин оказывается хитрее диалектических переходов в понимании истории и, получив в удел тех, кто не способен его в полной мере и на равных признать и зеркально отразить — в целях нападения или же признания, — что если господин воссоздает из подручных ему средств достойное зеркало собственного признания, которое хотя и будет искусственным, тем не менее, позволит удержать завоеванные рубежи от магического преображения его самости в облик сугубо потребляющей скотины?

Что же это за зеркало? Господину, чтобы не утратить своих завоеваний, требуется соорудить из подручного ему материала — из рабов и умений, которыми владеют рабы, — ту блистательную поверхность, которая в полной мере будет способна отразить на своей гладкой плоскости лик неувядающего от победы господства, лик, равный господству. При этом, в самой этой способности должна крыться всегдашняя возможность раскрытия иллюзорности и ненастоящести этого искусственного зеркала: рабы, которые смогут стать равными господину при этом в тот же самый миг должны оставаться рабами. Эта двойственность должна достигаться одновременно в своей разнонаправленности. Раб, которая будет уметь становиться равным господину, должен уметь становиться так, чтобы каждому в полисе было понятно — таким умением никто и никогда господином стать не может. И эта очевидность должна оставаться таковой отныне и присно и вовеки веков. Само же это искусственное созданное зеркало, должно показывать господина в его облике, достигая предельного равенства с ним, совершенно искренне, поскольку в противном случае искусственно будет создано отражение, которое искренне кривит отра-

жаемое. Иначе говоря, у рабов, которые отражают раба в виде господского его признания в качестве равных, у этих рабов на какой-то миг должно наступить осознание равенства с господином как действительного равенства — и именно в этот миг господин получит подлинное признание со стороны равного себе, но при этом сама эта вера рабов в равенство с господином должна покоиться на глубочайшей политической безосновности, на искусственном фундаменте, созданном не желающим озвереть господином.

### **СЮЖЕТ ВТОРОЙ: НЕОПРЕДЕЛИМОСТЬ ПОЭТА В ПОЛИСЕ**

В другом, более известном сюжете, — уже из Платона, — речь идет об изгнании поэтов за пределы полиса за их двусмысленность и неопределенность. Точнее — об их одновременном награждении и изгнании. Традиционно полагается, что это делается исключительно потому, что поэты предписывают богам те человеческие свойства, которые не подобает иметь ни богам, ни людям. Подтверждением тому служит приводимая там же — в “Государстве” — цензорская работа Платона над текстами Гомера. Однако, такое традиционное толкование исключает возможность понять — зачем же тогда награждать поэтов, не проще ли от них избавиться? Если же быть внимательнее, то можно увидеть, что основные претензии и благодарности поэтам Платон выдвигает по другому поводу. Дело в том, что в полисе каждый имеет свое, подобающее ему занятие и эти занятия распределяются между всеми согласно принципу справедливости. Сапожник делает обувь, кузнец — доспехи, скульптор — статуи. Каждый может быть более или менее успешен в этом своем занятии, о чем решают те, кто их трудами пользуется. Сапожник может быть хорошим или же плохим сапожником, но вот в чем ему (равно как и всем остальным) отказано, так это в том, чтобы сапожником не быть там и тогда, когда для жителей полиса и для правителей полиса он — сапожник. Безусловно, сапожник может сменить свою внутрполисную определенность, что действительно и происходит при перемене профессии. Более того, после занятий в мастерской, сапожник становится семьянином, на народном собрании может (представим себе и такое) получить даже выборную должность и т.д. Таким образом, каждый житель полиса может быть определен многозначно и в действительности многозначно определяется. Но нельзя — согласно Платону, — сменить определенность как таковую на отсутствие оной, на неопределимость. Хотя бы потому, что определенность — это самое первое условие, исполнение которого включает человека в полис (делает человека гражданином), постольку, поскольку на него теперь могут ориентироваться другие и брать его в расчет своих дел. Определимость проверяется на деле, т.е. действительно — в том деле, каким занят гражданин. Эта проверка (верификация) чрезвычайно проста и ее может осуществить всякий (или почти всякий) гражданин, имеющий свое дело.

Но поэт оказывается как раз тем, кто лишен своей определенности, ибо на деле (действительно) у него никакого своего дела нет. Говорит он всегда о делах других людей, которые не он сделал. Более того, он тем лучше поэт, чем больше он сейчас погружен в чуждое ему дело, чем ярче он высвечивает свою собственную неопределенность во имя чужой определенности. В этом смысле поэт не двусмыслен и даже не многосмыслен. В этом политическом смысле — с позиции определенности и возможности взятия в расчет остальными на деле — поэт вообще лишен всякого смысла, он бессмыслен. И потому, вероятно, он всегда для Платона будет находиться в том “скудном веке”, в котором он “не к чему” или же “не для чего”. Однако бессмысленность поэта не стоит смешивать с довольно-таки безобидной бессмысленностью маргинала или бездельника, поскольку бессмысленность поэта вводит остальных в иллюзию многозначности и определенности. Поэт изгоняется не за то, что он бессмыслен и неопределен, но за то, что его бессмысленность, неопределенность и политическая бесполезность активна и размывает политическую действительную определенность уже тем, что полагает недействительную (т.е. на деле не проверяемую) определенность для всех граждан полиса. За это поэта следует изгнать, но за что же его при этом следует наградить?

### СЮЖЕТ ТРЕТИЙ: НА ТЕРРИТОРИИ БЕССМЫСЛЕННОСТИ

Конечно же за то, что без поэта невозможно становление гражданина. Остается только выяснить статус этого “невозможно”. Речь, вероятно, идет о том, что награждая поэта, правитель признает этим награждением то, чего высказать никогда не сможет: всякая действительная определенность, бытующая в пределах полиса, покоится на бессмысленности, которую своим присутствием в полисе являет поэт. Иначе говоря, полис имеет хоть какой-то порядок не потому, что порядок имеется от природы (тогда бы политика была бы невозможна — ни хорошая, ни какая имеется), но потому что порядок устанавливается из политической бессмысленности признания. В этом смысле поэт все же имеет одно определенное занятие в полисе, он занимается тем, что показывает неопределенность и бессмысленность, он занимается признанием в чистом виде, показывая действительную безосновность любого (и не в последнюю очередь — политического) признания, в то время как в полисе признание политических установлений<sup>2</sup> распределено по множественности правителем, и именно эта распределенность признания порождает эффект нахождения каж-

---

<sup>2</sup> О понимании политического установления см.: *Богатов М.* Политическое установление произведения искусства // *Провинция: теоретический альманах “Res cogitans” #5.* — М.: Книжное обозрение, 2009, СС.108-114; более развернутая концепция этого термина в его контексте изложена в: *Богатов М.* Искусство бытия. — М.: Скимен, 2008, §2 [СС.67-93].

дого “при деле”, эффект политической причастности, т.е. действительности того или иного политического строя. Задача правителя — не дать этой распределенной безосновности, признанию, собраться в одном месте, поскольку, чем выше концентрация признания на чем-либо одном, тем ярче высвечивается безосновность любого признания (и здесь уже достаточно просто дать лопнуть тому пузырю признанной напыщенности через элементарный показ ситуации во фразе: “а король-то — голый!”). Сама действительная определенность действительна лишь в силу того, что она есть часть распределенной по множественности безосновности признания. Определенность в полисе есть часть общего удела безосновности; неопределимость в полисе — это концентрация неуделенной, бездельной безосновности всего политического устройства. В этом смысле внутриволисная бессмысленность — это не отрицание политического смысла, но собирание всех политических смыслов в нечто одно, из чего становится видна воочию их безосновность — как раз в полученной бессмысленности. Этим и занимается поэт. На этой же территории, правда, с другими целями, находится правитель. Правитель концентрирует совершенно бессмысленное для внутриволисной действительности, для дел, признание для того, чтобы распределить ее, утвердив, тем самым, тот или иной тип политической действительности и внутриволисной деловитости. В этом смысле правитель занят распределением безосновности одного в действительную основанность (посредством “дельности”) множества. Поэт же утверждает действительность безосновности своим бездействием, как раз тем, что ничего — в собственном смысле этого слова — не “делает”. Для этого утверждения ему достаточно самого пребывания в полисе в качестве поэта; со стороны внутриволисной деловитости само это пребывание поэта кажется чем-то “простым”, как говорит Хайдеггер, “чистым наличием”; на деле, конечно, само это пребывание, ничегонеделание куда сложнее, чем какая-то “дельная” определенность и требует больше усилий (чтобы “просто” поэтом остаться).

Признание у правителя выступает основанием, с которого политическая действительность становится собой посредством распределения и рассредоточения ее по множеству внутриволисных мест. Признание у поэта остается за ним, оно никуда не распределяется и не рассредоточивается, а потому в признании поэта всегда явно видится та безосновность всякого признания, которая в полисе размазана тонким слоем “действительных дел”.

### **СЮЖЕТ ОБЩИЙ: ОТ ПОЭТА К ИНТЕЛЛЕКТУАЛУ, ИЛИ ОТ ПЛАТОНА К ЗВЕРЮ**

Что будет, если правитель Платона, обрядившись в одежды господина (версии Кожева-Гегеля), воспользуется у поэта как раз тем, за что поэт у Платона из полиса изгоняется, этим концентрированным признанием, лишен-

ным всякой политической действительности? Ведь любой правитель, в силу того, что он правит, уже тем самым распределяет безосновность своего признания на “деле”, а потому ему-то как раз чистое признание, лишенное “дел”, придется впору — в качестве зеркала, по одну сторону которого находится определенность политической действительности, а по другую — нераспределенное и полагающееся не этой определенностью, но точно такое же, в своей безосновности, чистое признание. Не случайно то впечатление, что Платон предлагает изгонять поэта из полиса так, будто поэт представляет угрозу всему полису — и теперь видно почему: потому что у поэта в чистом виде явлено распределенная по полису безосновность признания, признания той же, господской, природы.

Перед нами — воспроизводство другого господина подручными, рабскими средствами. При этом поэт Платона перестал быть поэтом, и стал зваться интеллектуалом, производящим, по мысли Клода Лефорта, интеллектуальные (т.е. не принадлежащие ни одному “делу”, а посему, с позиции Платона, совершенно — даже филологически — бессмысленные) произведения. Это является указанием на то, что интеллектуал фактом своего присутствия останавливает тупое (но вполне “естественное”) превращение господина в животное, и — будем последовательны — сам ход истории, вместе с ее диалектическими и столь желательными Гегелю, переходами. Тут — безвременное глядение господина в зеркало, созданное из подручных средств, где одно, основывающее политическую действительность признание смотрится в другое, сконцентрированное в своей безосновности. Единственное, чего не может сделать господин по отношению к интеллектуалу, равно как не мог этого правитель по отношению к поэту, — нельзя наделить интеллектуала или поэта своим признанием, чтобы при этом он остался интеллектуальным или поэтичным, нельзя распределить на него часть множественности, поскольку тогда он ментально будет находиться “при деле”, и утратит свойство поверхности, в которую глядя, можно видеть себя. Не случайно, что наделение интеллектуалов “делом” (посредством образовательных программ и грантовой политики) преобразовало их в простых “деловых” людей, функционеров, в которых ни один правитель уже не способен себя разглядеть, если, конечно, правитель сам не стал функционером (т.е. если он еще сохранил наделяемые ему Гегелем черты носителя исторического духа). И не случайно при этом, что роль зеркала чистого признания пришлась на тех, кто вновь не способен быть “при деле”, на тех, с кем “невозможно договориться” — не случайно, что полис сегодня противостоит не поэту, не шуту, не интеллектуалу, но фигурам эмигранта, террориста и им подобных. И при этом каждому сапожнику в полисе понятно, — в той мере, в какой он сам находится “при деле”, т.е. в зависимости от того, какое ему уделено распределение безосновности господства признания, раскрывшись в виде “настоящести” и “действительности” (“всамоделишности”),

— так вот, каждому сапожнику понятно, что зеркало, пусть даже и самое точное, в сравнении с “действительным” господином есть не что иное, как уродливая бездушная стекляшка, и достаточно одного удара по этому зеркалу со стороны “действительного” господина, как оно расколется на тысячи осколков. И далее, сапожнику, не вникающему в диалектические тонкости, не понятно, что полис погрузится во тьму и станет берлогой мрачного зверя, но даже и эта перспектива сапожника не напугает, лишь бы он был “при деле”, при своих сапогах, которые, как он небезосновательно полагает, “будут всегда”.

Интеллектуалы останутся в полисе и станут подручными средствами для отражения звереющего оскала действительного господина. Наказанием для них то, что они остались. А вот награды ждать не придется — даже в виде венка на голову или на могилу. Платон это бы понял, но никогда бы не принял. Если оставление поэта в полисе у Платона поэтизировало власть (и указывало, тем самым, на всю пустую “надутость” политически действительного), то оставление интеллектуала в полисе сегодня озверяет мышление, приостанавливая озверяющее отупение власти, погрязшей в потреблении продуктов труда своих рабов. И тогда интеллектуал пригождается на показ подлинного лика своего и общего господина. Если зеркало отражает мыслью и в него смотрится господин, то мысль эта — согласно диалектике раба и господина — будет звереть и отупляться, становясь мыслью потребительской. Такой поэт — если бы речь шла о поэте, а не об интеллектуале — породил бы такие произведения, которые казали бы — помимо воли самого поэта — чистую безосновность признания, в котором покоится нынешний одинокий господин. И тогда бы никакой сапожник, да и вообще любой находящийся “при деле”, не смог бы разобратся с подобными произведениями, предпочтя им радостное шествие в берлогу к господину с разбитым зеркалом. И если это происходит, то находящиеся “при деле” оставляют интеллектуалов им самим, поскольку совершенно не в силах собрать воедино всю безосновность распределенного по множественности, и потому наделенного определенностью действительного. И что находится в этом зеркале, насколько искажает оно и какой лик отражается в нем — это можно увидеть лишь собрав воедино всю действительность внутрисполисных дел, собрав в их единство их безосновности.

Но даже и тогда вряд ли станет виднее, ибо в это зеркало другой природы смотрится только один.